



ISSN 2073-6606

TERRA ECONOMICUS

11
ТОМ

2013

1
номер

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И АНГЛИЙСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ¹

У.ДЖ. ЭШЛИ,

Пер. с англ. Оганесян А.А.

Прошло вот уже почти тридцать лет с тех пор, как я под влиянием сразу трех совершенно разных личностей — Стаббса, Тойнби и Шмоллера — начал интересоваться экономической историей. И, оглядываясь назад, я осознаю огромные перемены, произошедшие в академической атмосфере. Я не стал бы говорить о Германии, Франции и России или других странах Европейского континента; но что касается Англии и Америки, можно с большой долей уверенности утверждать, что исследование экономической истории как отдельного предмета больше не является здесь индивидуальной прихотью, едва ли не требующей оправданий; сегодня это — общепризнанное и уважаемое научное направление. В подтверждение этому — обстоятельство, само упоминание которого может вызвать улыбку у наших зарубежных коллег, но которое достаточно значимо в Великобритании: экономическая история включена в список экзаменационных дисциплин. В Кембриджском и Лондонском университетах, а также в большинстве более молодых университетов ежегодно проводятся экзаменационные работы по данному предмету, и несколько сотен студентов прикладывают все усилия, чтобы справиться с заданием. Соответственно, в настоящее время перед учеными, решившими посвятить себя этой специфической исследовательской области, открылась возможность построения своего рода академической карьеры.

Однако существует и другая, возможно даже более значимая, примета времени, о которой, вероятно, пожелали бы узнать наши зарубежные коллеги. За последние несколько лет в Великобритании образовалась довольно обширная организация — Ассоциация образования рабочих. В эту ассоциацию, цель которой — обеспечение рабочим, как мужчинам, так и женщинам, достойного для горожан уровня образования, входят, совместно с университетами, профсоюзы, кооперативы, школы для взрослых и другие организации для рабочего класса. Источником расходов, покрываемых преимущественно за счет грантов Совета по образованию, служат общие налоговые поступления страны. Примечательно, что предметом, наиболее широко изучаемым рабочими на этих занятиях, является экономическая история. За учебный семестр 1911–1912 гг. из 102 систематических учебных курсов лекций и консультаций почти половину, а именно, 49, составили курсы по экономической истории. Далеко позади осталась экономическая теория, или экономикс, на долю которой пришлось 29 курсов; к тому же, ни один другой предмет не сводил вместе более четырех или пяти учебных групп. Во многих случаях группы последовательно переходят, в последующем году, от экономической истории к экономической теории; в других случаях изучаемые курсы предполагают либо переход от более общей экономической истории как таковой к углубленному ее изучению, либо обращение к некоторым другим историческим аспектам — например, конституционным.

Такое интересное положение дел возникло, по-видимому, отчасти случайно, а отчасти — как результат свободного выбора рабочих, участвовавших в первых «консультационных занятиях». Естественно, эти представители рабочего класса стремились к некоторой просвещенности о насущных актуальных проблемах современности; но они ощущали, как один из них сказал мне, что постижение их с исторической точки зрения обеспечит «ощущение пропорций и перспективы» и сделает поиск ответов на дискуссионные вопросы впоследствии более беспристрастным. Оправдав себя в ходе этого опыта политика привела к тому, что данная практика прижилась. К тому же, для многих рабочих экономическая история была привлекательна, по-видимому, не только как вводный курс к политической экономии, но и как источник собственного развития — за счет производимого впечатления, что к ответам на интересующие вопросы эта наука подбирается ближе, чем тот специфический вид экономической теории, представителями которого являются большинство английских экономистов.

Последствия глубокого исследования экономических проблем, как исторического, так и иного характера, *элитой* рабочего класса непременно должны быть масштабными. До настоящего вре-

¹ Ashley W.J. Comparative Economic History and the English Landlord // *The Economic Journal*. 1913. Vol. 23. No. 90 // Accessed at <http://www.jstor.org/stable/2222133> 19.04.2011 02:29.

мени Ассоциация образования рабочих без особых усилий могла придерживаться независимой и беспристрастной позиции. В этом отношении она оказалась более удачливой, чем единственное современное образовательное движение рабочего класса, с которым, в некоторой степени, можно провести аналогию, а именно, чем сеть популярных лекционных курсов, организованных в Германии партией социалистов. Образовательная работа социалистической партии Германии, — и под ней я подразумеваю не столько пропагандистскую деятельность, которая, разумеется, занимает важнейшее место, сколько рвение пробудить в рабочих, как в мужчинах, так и в женщинах, интеллектуальный интерес вообще, будь то увлечение естественными науками, искусством или историей, — эта работа вряд ли обращала на себя столько внимания, сколько следовало бы. Хотя старания партии вряд ли можно оценивать отдельно от узости партии; а Ассоциация образования рабочих извлекает кое-что из своей свободы от сложных опутывающих связей.

Такое растущее внимание к экономической истории, общее для групп, состоящих из представителей рабочего класса, и для студенческих кругов, обусловило важность параллельного исследования наиболее значимых научных аспектов каждого раздела данной сферы. Конечно, в период такой социальной политики опасностей, связанных с поспешностью формулировок или ненадлежащим акцентированием отдельных фактов, не стало меньше по сравнению с теми временами, когда в качестве предмета углубленного изучения направление задавала церковная история, или — в более поздние периоды, — конституционная история. На это можно возразить, *Quis custodiet, custodes ipsos?* Сами профессора имеют свои предубеждения, свои пристрастия, которые, будучи слабо осознаваемы, тем более опасны. Мы здорово заблуждаемся, полагая, что исторические, политические, правовые и экономические темы привлекают к себе внимание, даже если речь идет о наших мирных кабинетах, только лишь в связи — или пропорционально — с их научной социологической значимости; что средний ученый объективен и свободен от влияния контекста современности. Фактически, источником вдохновения для выполнения основного объема важной работы, проделанной в университетах в рамках данных областей, всегда служил интерес к проблемам, находящимся на повестке дня; а становятся ли эти проблемы «тенденцией», — зависит лишь от степени этой заинтересованности. Если исправить положение возможно, то начинать поиск решения следует с осознания опасности. Преодоление предвзятости начинается с признания вероятности того, что наши собственные суждения могут быть предвзяты и, соответственным образом, их следует подвергать сомнению. Помочь может также увеличение количества исследователей, способствующее тому, чтобы никакие сомнительные результаты или выводы не оставались без критики в течение долгого времени со стороны коллег-ученых альтернативного «направления». А если критика исходит от представителя другой национальности, при этом появляется даже больше шансов, что даже если его свежий взгляд на предмет предвзят, то это — предвзятость альтернативного направления.

Эти размышления привели меня к теме, на которой мне будет непозволительно не остановиться в данном контексте: обращающий на себя внимание международный характер последних исследований по особенной теме. Удивительно, как велика среди лучших трудов — я имею в виду труды по экономической истории Англии — доля исследований, проделанных иностранными учеными. Это явилось результатом их, в сущности, практической цели. Они с подлинным интересом обратились к социальной истории другого государства, обогнавшего в своем развитии их страну, с намерением предостеречь об опасностях, которых следует избегать, или указать на примеры, которые следует воспроизводить. Так, Маркс, Brentano, Gell, Шульце-Геверниц и Леви исследовали промышленную историю Англии, потому что Англия прежде Германии прошла через «Промышленную революцию». И, тогда как немецкие ученые тщательно исследовали развитие мануфактурного производства, их русские коллеги, относительно недавно, с усердием набросились на аграрную историю. Стоит лишь упомянуть фамилии Кареева, Лучицкого, Ковалевского в связи с их исследованиями Франции, Виноградова и Савина — в связи с исследованиями Англии. Очевидная причина состоит в том, что в недалеком прошлом Россия столкнулась с перспективой масштабной аграрной трансформации, и ее патриотично настроенные ученые, обращаясь к опыту других стран, уповают хоть на какой-то проблеск света на своем пути. Мы все должны надеяться, что они найдут искомые ответы; но, в любом случае, их чрезвычайная любознательность очень ценна для истории тех стран, на которые они обращают свое внимание.

Я знаю, что пытаться проиллюстрировать международный характер нашего исследования, затронув предмет, который привлекает именно сегодня достаточно много внимания в этой стране, а именно, тему земельной собственности и (феодалного) землевладения, довольно рискованно. Я осознаю, что, как и прежде, целый блок затрагиваемых этой темой проблем остается не проясненным; однако можно, чтобы в некотором смысле получить одобрение ученых, указать на сегодняшнее положение исторического исследования. Все, о чем я буду говорить, имеет отношение, глав-

ным образом, к Англии. Но, конечно, в период Средневековья отмечалось существенное сходство социальных условий на большей части территории Западной Европы; и именно этим фактом, как станет ясно, мы обязаны как получаемой подчас в ходе исследований огромной поддержке, так и возникающим время от времени серьезнейшим препятствиям.

Для начала необходимо отметить тот очевидный факт, что историк, изучающий земельный вопрос в Англии, больше не имеет однозначно определяемой отправной точки, из которой исходили его предшественники сорок лет назад. Тогда историк мог допустить, что знает, при каких условиях происходило развитие на начальном этапе истории Англии, будучи также уверен в своих знаниях о том, при каких условиях оно окончилось; его задача заключалась в заполнении промежуточных стадий. Вряд ли есть необходимость пояснять, что такой отправной точкой служила «земледельческая община», с восторгом описываемая Грином на вступительных страницах и угадываемая за осторожными формулировками Стаббса. Эти общины занимали центр картины: различия в званиях, материальном достатке или социальном положении тускнели и оставались на заднем плане, который надолго не задерживался в памяти; соответственно, проблемами, которые предстояло постичь историку, формулировались так: как получилось, что свободный человек оказался в крепостной зависимости?; как общины, владевшие землей, попали в зависимость от лордов маноров?

Примечательно, что ничто из этого не привлекало внимания английских историков, покуда они ограничивались фактами из истории Англии; ничего подобного не встречается, например, в работах Галлама. В английскую историю эти вопросы были привнесены Кемблем, прошедшим обучение в Германии: со всей уверенностью полагая, что то, что считалось очевидным для тевтонцев на родине, должно быть верно и для тевтонцев, проживающих в Британии, он занимался поиском фактов английской истории, которые бы вписались в его схему. Также эти вопросы, уже на более серьезном уровне, занимали Стаббса. Изучая оставленные им примечания к ранним главам, невозможно не заметить, что он основывается на фундаментальных положениях, предположительно сформулированных для Германии Маурером и Вайцом.

Репутация немецких ученых по достоинству ценилась так высоко, что, пока немецкие историки проявляли единодушие, никакая критика извне не могла на что-либо повлиять. Так, в течение какого-то времени традиция Маурера — Вайца продолжала укрепляться все более впечатляющими темпами, — как в трудах по экономической истории Инамы и Лампрехта, так и в работах по истории права Бруннера. Резкая критика Фюстелем целого ряда фактов истории римлян, Меровингов и Каролингов, эссе Денмана Росса, реалистичная трактовка материалов об Англии Сибомом были точно так же проигнорированы. Вместо того, чтобы размышлять над тем, каково же место фактов, привлечших внимание Фюстеля и Сибома, в общей картине, этих ученых предпочитали воспринимать лишь как единичных сторонников теории соперничества — теории, утверждающей, что манор вырос из римского загородного поместья. И чем больше мы узнаем из работ Хансена, Мейцена, Сибома о существовавшей в средние века системе культивации почвы, с ее неогороженными полями, перемежающимися участками, севооборотом и пастбищеоборотом, — тем более очевидным становится понимание, что римскую *виллу* вряд ли можно приравнивать к *грюндершафту*, *сеньории* или *манору*.

Так, прогресс был немислим без возникновения нового направления среди самих немецких ученых. Общеизвестно, что с 1896 г. такое направление появилось. Упомяну лишь имена Гильдебранда, Виттиха и Кнаппа. Эти авторы заставили произвести переоценку общепринятой трактовки Тацита и Варварских правд, а также ранних земельных хартий и капитуляриев. Кроме того, была поставлена под сомнение считавшаяся до тех пор неопровержимой интерпретация периода с 400 по 800 гг. н. э. согласно традиции Вайца — Бруннера, ввиду того, что она больше соответствует их трактовке периода 800–1000 гг. н. э.; Допш, в свою очередь, демонстрирует исключительную ненадежность некоторых очевидно наиболее прочно укоренившихся положений как раз по отношению к институтам Каролингов.

Перечисленные мной авторы, безусловно, пока не завладели ситуацией полностью; прежние позиции все еще отстаиваются; и, конечно, не стоит поспешно принимать на веру любые новые масштабные обобщения. Можно попытаться резюмировать, очень осторожно, какие выводы представляются мне пока предварительными. К ним относятся выводы о том, что: на заре истории в Галлии и Германии очень большое количество земли находилось в индивидуальной собственности, и что богатство, с одной стороны, и рабство и личная зависимость — с другой, всегда были важными факторами в тех обстоятельствах; в Нейстрии и других в большей степени романизированных территориях кельто-германского мира римская *вилла* была, как правило, одним из главных, возможно даже, доминирующим, элементом процесса развития; сеньориальное устройство западной части Каролингской империи оказало значительное влияние на некоторые аспекты последующего развития ее восточной части; даже в Германии общинная собственность на землю никогда не являлась основополагающим или повсеместно распространенным социальным институтом; там существовало что-то очень схожее

с частными крупными владениями, на которых работали невольники и рабы, начиная с самых ранних периодов тевтонских поселений; «обыкновенный вольный человек», вероятно, в некотором смысле как основа правовой системы, не был ни так похож на крестьянина, ни настолько единообразен, ни настолько привязан к общине, как мы привыкли представлять. Предстоит еще многое сделать, прежде чем разрозненные фрагменты головоломки встанут на места; возможно, существовали большие различия, не только такие, как между Нейстрией и Австрией, но и в границах самой территории Германии. Более того, отдельно взятый аспект ведения сельского хозяйства — включая систему перемежающихся полос и все, что они подразумевали, — также необходимо привести в соответствие с правовой стороной проблемы. Невозможно не заметить упущения этих аспектов даже в таких солидных трудах, какие принадлежат перу Фюстеля и Се. Что касается Англии, боюсь, что, несмотря на работы Мейтленда и Виноградова, мы должны подождать решения нашей локальной проблемы до тех пор, пока будет найдено решение более масштабной континентальной проблемы. Что уже весьма вероятно, так это то, что мы не обнаружим ничего, что можно было бы четко охарактеризовать как повсеместная общинная система землевладения, сочетающаяся с материальным равенством большинства людей, в условиях оседлого земледелия. Чтобы найти такую систему, нам пришлось бы обратиться к еще более ранним периодам и «племенным» порядкам — если ее вообще возможно найти.

По прошествии некоторого времени, вероятно, можно было бы порекомендовать для ученых, популяризирующих историю развития сельского хозяйства, начать с *манора* (*грюндершафта*, *сеньории*), такого, каким мы увидели его на большей части территории Англии, Франции и Германии, — скажем, в XIII в., — отказавшись от попыток формулировать самонадеянные утверждения относительно процесса их зарождения. Действительно, Мейтленд предостерегал нас от слишком вольных трактовок манора, связанных с эпитетами «типичный» или «нормальный»; он указывал на разнообразие обстоятельств, которые обнаруживаются в одно и то же время даже среди английских деревень и сел, так что совсем не трудно обнаружить имеющиеся в изобилии факты, совершенно несовместимые с любым из наших привычных обобщений. Однако некоторые детали так часто обнаруживаются при исследовании жизни средневековой деревни, — детали, на которые в достаточной мере указывают такие термины, как *домен* и *ярдленд* (*гуфа*), а также *поденщина*, — что могут рассматриваться как типичные характеристики сельской жизни на обширной территории Западной Европы. Повсеместно половина — или даже больше того — возделываемых земель обрабатывалась мелкими крестьянами-землепашцами. Условия, на которых большинство из них арендовало участки, были, несомненно, обременительны; и мы должны потрудиться не изображать их жизнь в розовых тонах. Все же они существовали в схожих условиях как в Центральной и Северной Франции, так и в Южной и Средней Англии, и в Западной и Центральной Германии. Но при сравнении этих трех стран сегодня мы, конечно, не обнаружим такого единообразия. На значительной части территории Германии и Франции место крепостных землепашцев Средневековья заняли крестьяне-собственники. Статистические данные о сельскохозяйственной сфере на удивление скудны; но можно с достаточной степенью достоверности утверждать, что во Франции приблизительно около половины, а в Германии — около двух третей земель теперь находится в собственности крестьян. По всей видимости, во Франции такая высокая доля собственности достаточно широко распространилась по всей площади страны; в Германии, с другой стороны, есть такие крупные провинции, как Бавария, в которых, фактически, на огромной протяженности территориях вообще отсутствует крупная собственность. Однако обратившись к Англии, мы обнаружим, что крестьянской собственности крайне мало. Огромная часть английских земель принадлежит крупным землевладельцам, которые не обрабатывают свою землю самостоятельно или через управляющего, что является привычной практикой для таких крупных землевладельцев, например, в Германии или во Франции, — вместо этого почти вся земля сдается внаем относительно крупным фермерам-арендаторам, нанимающим сельскохозяйственных рабочих, получающих за свой труд заработную плату. Вопрос, поиском ответа на который я сейчас займусь, — объяснение этой особенности английской истории.

Я не намереваюсь оценивать сравнительные преимущества английской и континентальной систем. Примечательно, что исследователи аграрной экономики в Германии, как правило, исходят из того: система крестьянского землевладения особенно — настолько диверсифицированная, что безземельный рабочий, если он вообще существует, имеет неплохой шанс подняться самому до уровня мелкого землевладельца, — такая система очевидно более привлекательна, с точки зрения социальных оснований; при этом высказывается соображение, что определенное количество крупных землевладельцев, вероятно, может оказаться полезным в деле совершенствования методов организации сельского хозяйства. Английские авторы традиционно занимают противоположную точку зрения, утверждая, что английская система — лучшая в том, что касается экономики сельского хозяйства; хотя и они могут, в свою очередь, высказать соображение о социальной пользе крестьянского землевладения. Я предпочту оставить все

эти вопросы в стороне, сосредоточившись на чисто исторической проблеме: каковы фактические обстоятельства возникновения разницы между Англией и странами континента?

О внешних фактах развития Англии мы сегодня осведомлены гораздо лучше, чем еще каких-то двадцать лет назад. Работы, посвященные более ранним эпохам, таких авторов, как Пейдж и Гай, Савин и Тоуни; а также — более поздним эпохам, таких авторов, как Хосбах, Слейтер, Джонсон, Протеро, Гбнер и Хаммондс, — в достаточной степени прояснили почти каждый имевший место процесс. Первые два из перечисленных имен — Пейдж и Гай — американские ученые; третий, Савин, — русский; эти трое добавили множество полезных знаний к нашему багажу, в очередной раз подтвердив ценность взгляда на проблему со стороны. Благодаря им и другим ученым, которых я упомянул, в основном, мы достоверно знаем о том, что происходило, хотя по-прежнему остаются некоторые темные места, касающиеся копигольда и лизгольда. Следует согласиться с сегодняшними авторами в части описания современной реорганизации сельской Англии в соответствии с курсом, который сегодня известен как работа «господствующего класса, правящего Англией на протяжении последнего столетия старого *режима*». Можно добавить, что представители этого класса, как правило, полагали, что то, что приносило им личную выгоду, служило также источником выгоды для остального населения; что, безусловно, большей частью реорганизация собственности и землевладения принимала правовые формы; что процесс потребовал, со стороны «правлящего класса», как предприимчивости, так и расходов; и что те, чьи интересы наиболее явно пострадали, получили некоторую денежную или иного рода компенсацию. О каких бы еще обстоятельствах, стоящих, по нашему мнению, дополнения, мы ни упомянули, — в любом случае, правда заключается в том, что этот «правлящий класс» нес ответственность за происходящее. Однако не существует ответа на вопрос, почему такая своеобразная трансформация происходила именно в Англии. Ведь в тот период, с которого мы начали, в других странах высший класс общества походил на тот, что существовал в Англии; и нет причин полагать, что в Англии высший класс был от природы каким-то более эгоистичным или более предприимчивым.

Давайте посмотрим, не прольется ли немного света на эту проблему, если мы обратимся к опыту других стран. Начнем ознакомление с существующей в настоящее время в Англии системой, которая кажется вполне понятной. Изучение истории XVIII в. невозможно без постоянного напоминания о широко распространенном среди представителей высших сословий Англии стремлении усовершенствования методов ведения сельского хозяйства. Мы уже выучили все об Артуре Янге, о его преклонении перед «воодушевленными» землевладельцами, и о порицании им неогороженных участков и общинных земель. Но когда эти факты приобщаются для того, чтобы «объяснить» развитие Англии, сразу же нам на ум должно прийти, что точно такое же развитие событий имело место и во Франции: та же восторженность по отношению к аграрной науке, то же формирование аграрных обществ. Во Франции, как и в Англии, считалось просвещенным в правительственных кругах упразднить право пользования общественной землей и способствовать процессам огораживания; французские указы, издаваемые с этой целью, были непосредственным результатом деятельности представительств аграрных обществ. И все же влияние «агрономов» во Франции было отнюдь не столь велико, как это иногда приписывается им в Англии.

Авторов, которые не стали останавливаться на этом первом и наиболее правдоподобном объяснении, иногда склоняли к тому, чтобы акцентировать внимание на влиянии экономистов, во всяком случае, на последних этапах этого процесса в Англии. За одним выдающимся исключением, которым являлся Джон Милль, экономисты первой половины прошлого века поддерживали как крупную собственность, так и крупные фермерские хозяйства. Сегодня нам известно, что Бентам «полагал, что зрелище огораживания — одно из самых обнадеживающих свидетельств изменений к лучшему и счастливой жизни»; мы знаем, что Маккаллох описывал современную ему систему сельского хозяйства как «мощную пружину, которая способствовала, возможно, больше, чем что-либо другое, тому, что наша сфера коммерции и мануфактурного производства переживает небывалый расцвет», и как он предостерегал людей своего поколения не оказывать «никакой поддержки любой схеме, касающейся либо разделения имений, либо строительства коттеджей, приносящей убыток»; мы можем припомнить, как Портер, статистик фритредерства, резко осуждал Голдсмита за то, что тот «настолько невежественно» сокрушался по поводу исчезновения крестьянства. Такое воодушевление со стороны экономистов одного поколения, подобно содействию со стороны агрономов предшествующего поколения, должно быть, придало дополнительный импульс силам, двигающим процесс перемен: средний землевладелец, чьи экономические знания ограничивались рекомендациями авторитетных представителей этой науки, стал бы поддерживать огораживание, выкупать мелких владельцев и объединять фермы с приятным ощущением морального удовлетворения. И все же мы должны приписать политической экономии такое же незначительное влияние, как и агрономии, по той простой причине, что голос ее был услышан так же отчетливо, и гораздо раньше, во Франции. Вряд ли надо пояснять, что именно представители французского течения

экономистов XVIII в. предложили постулаты и в общих чертах описали план поздней ортодоксальной английской политической экономии: и одна из услуг, оказанных русским ученым Кареевым, состояла в том, чтобы напомнить своим читателям, что направление мысли французских экономистов полностью выступало против крестьянских фермерских хозяйств. Кенэ, в своих знаменитых «Максимах», утверждал, что «земли, отводимые под зерновые посевы, следует объединить, по мере возможностей, в крупные фермерские хозяйства, управляемые умелыми состоятельными агрономами», потому что «в страну необходимо привлекать не столько людей, сколько капитал». Деление населения, занятого в сельском хозяйстве, на три класса — землевладельцев, фермеров-арендаторов, источником заработка которых служит капитал, и рабочих, живущих за счет заработной платы, которое мы обнаруживаем заимствованным Адамом Смитом и Рикардо и которое мы традиционно трактуем как естественное отражение условий того времени, — с той же точностью в таком же виде описано в тщательно изученных работах экономистов. Здесь оно представлено как очевидно наилучшее общественное устройство, ввиду того, что оно обеспечивало наивысший чистый доход: и это было во времена, когда крупный фермер-арендатор, хотя и встречался повсеместно, отнюдь не был столь характерен для Франции, как в скором времени стал характерен для этой страны. Когда принцы Савойские содействовали экспроприации *сеньоров*, которая впоследствии служила убедительным примером для Франции, спор физиократов сделал то небольшое, что можно было, чтобы это остановить. Читая «Размышления...» «божественного» Тюрго, с их догматичными суждениями о «культуре капиталистов-предпринимателей», а также о параллельности мануфактурного производства и сельского хозяйства, о том, что в обеих сферах необходимо разделять «предпринимателей» и «простых наемных рабочих», мы осознаем, что базовые принципы английского «интенсивного земледелия» первоначально — и достаточно здраво — были сформулированы не в Англии, а во Франции. И, опять же, эта доктрина явно оказала гораздо больше влияния во Франции, чем, как вероятно принято думать, в Англии.

Объяснение различий между Англией и другими странами иногда ищут во впечатляющих актах континентального законодательства. В частности, два эпизода привлекают восхищенное внимание: земельное законодательство Французской революции и законодательство Штейна и Гарденберга в Германии. Однако что касается Франции, последние исследования подтвердили, по существу, подход Токвиля и выявили, что революция не произвела фундаментальных фактических изменений в общем положении дел. Длительная и напряженная дискуссия по поводу этой темы объясняется неоднозначным термином «собственник». Вероятно, после революции не намного больше земель принадлежало крестьянским «собственникам», чем до того принадлежало «цензитариям» и другим классам обычных арендаторов, подчиняющихся каждый своему *сеньору*. Их положение было, в сущности, тем же самым — со всеми сложностями технического и практического характера и неясностями — как и положение копигольдеров в Англии. Кто являлся «владельцем» их земли — представляло собой вопрос, на который невозможно было ответить в эпоху феодального средневековья в современном смысле, поскольку собственность в современном смысле в общем виде не существовала. Сам *сеньор* в теории права был «арендатором» земли, который арендовал ее у короля или иного вышестоящего лорда. Но когда феодальная теория осталась в прошлом и стала поддерживаться идея, что где-то должен быть «собственник» для каждого участка земли, на вопрос о том, кому принадлежит земля *цензитария* или копигольдера, можно было дать два совершенно противоположных ответа. Можно было сказать, что собственность, переходя к лорду, подчиняется правам *цензитария*, или что собственность, переходя *цензитарию*, подчиняется правам лорда. Согласно первой из этих трактовок — возможно, именно она более широко распространена среди юристов, — Французская революция, путем упразднения притязаний лорда на взимаемые повинности, преобразовала арендование в собственность, создав таким образом крестьянскую собственность. Однако вторая трактовка была настолько естественна еще до начала революции, что о тех *цензитариях*, которые не могли быть выселены, покуда выплачивали свои повинности, а также о тех, кто мог распоряжаться своими участками практически так, как пожелает, а таких было много, — уже часто говорили в публичных речах, упоминали в административных отчетах и даже в некоторых сводах законов в качестве «собственников». Приблизительная оценка Артура Янга, что мелкие собственники держали треть земель, подтверждается большинством современных статистических исследований, основывающихся на налоговых ведомостях. Так, согласно Лучичкому, крестьяне-«собственники» до революции держали 30% земель, окружавших Лаң, тогда как аналогичные исследования Блока приписывают им столь значительную долю земель в окрестностях Орлеана, как 44%.

Что законодательное собрание и Конвенция сделали для этих «собственников», так это облегчили их положение посредством полного освобождения их от сеньориальных повинностей, посредством этого предоставив им возможность более успешно обеспечивать свое существование в грядущем столетии. В то же время, в собственников оказалось преобразовано довольно много временных пользователей земли, чьи права аренды никогда прежде не были настолько близки к праву собственности — подобно арендаторам лизгольдов на условиях срочности, характерных для Бретани. Что касается последствий

продажи конфискованных церковных земель и земель *эмигрантов*, нельзя сказать, что эти меры способствовали достижению конечной цели. Последние исследования, похоже, демонстрируют, что, хотя львиная доля отошла *буржуазии*, довольно много крестьян, и даже простых обитателей коттеджей, оказались в состоянии приобрести небольшие участки. Так что чистый эффект революции состоял как в укреплении, так и отчасти в расширении крестьянского землевладения. Но это оказалось бы неосуществимо, если бы крестьянское население, будь то мелкие собственники или обычные арендаторы, не оставались бы по-прежнему на земле. Контраст с Англией, где к этому времени, согласно Артуру Янгу, «мелкая собственность» встречалась «очень редко», очевиден.

Реформы Штейна и Гарденберга обычно воспринимаются в Англии как меры, способствовавшие формированию крестьянина-собственника в Пруссии; иногда выражается надежда, что и в Англии появится достаточно влиятельный государственный деятель, способный последовать их примеру. Однако более внимательный взгляд выявляет, что эти меры вызвали, в гораздо более ограниченных масштабах, то же, что произошло и во Франции: улучшилось положение многих крестьян, которые уже находились на земле, но эти меры не могли поместить их туда. Действительно «эпохальная» книга Кнаппа очень хорошо прояснила, что прусские меры «даже близко не были похожи на модели социального законодательства». Мы могли бы уже об этом догадаться, если бы поразмыслили над тем, что провинции, вовлеченные в соответствующий процесс, являлись частью «Остэльбии», где — с точки зрения сторонников крестьянской собственности, — условия в течение некоторого времени были заметно хуже тех, что отмечались в любой другой части Германии. Те крестьяне, которые были в результате реформ Штейна и Гарденберга переведены в статус независимых собственников, должны были уступить от трети до половины своих наделов в качестве компенсации лорду ущерба от прекращения своих трудовых повинностей; привилегия наделения правами ограничивалась «крестьянами» («*Bauern*») в наиболее узком, провинциальном смысле этого термина, а именно, теми, чьи участки обрабатывались с помощью воловьей упряжки. Существовало также ограничение и для более крупных держателей, для тех, которые в средневековой Англии назывались «полными вилланами» и «ярдлингами». Более мелких арендаторов — арендаторов в силу манориального обычая — от «неполных ярдлингов» (используя, опять же, английский термин) до батраков различного уровня — не принимали во внимание. Они, согласно действию экономических сил и в результате реализации законных прав своих лендлордов, постепенно оказались в положении безземельных рабочих, вынужденных, для обеспечения средств к существованию, работать в дворянских поместьях («*Rittergüter*»). Кнапп не замедлил указать, что лишение мелких арендаторов возможности освобождения от повинностей в совокупности с отменой защиты, получаемой ими прежде со стороны правительства (это я поясню ниже), составляло компенсацию, на которой настаивали лендлорды, жертвовавшие взамен своими прежними законными притязаниями в отношении более крупных арендаторов. Поместья *юнкеров* были расширены; в то же самое время они получили возможность обходиться без услуг своих более крупных арендаторов, поскольку этот новый класс безземельных рабочих поступил в их распоряжение. Класс, печальная судьба которого в Англии в последнее время так остро была поставлена перед нами, — класс, представленный сельскохозяйственными рабочими, батраками, — именно этот класс в Пруссии также оказался в проигрыше.

Случай Пруссии, однако, пролил немного света на историческую проблему, сходную с той, которая существует сейчас в Англии. Как произошло, что в 1807–1811 гг. в Пруссии по-прежнему оставалось еще так много крестьян в положении арендаторов? Ответ следует искать в масштабных мерах в рамках политики «Защиты крестьянства», проводимой правителями Пруссии, как и правителями Австрии и другими наследными принцами XVIII в. Эдикты, издаваемые прусскими правителями, почти сразу же, как только они освобождались от контроля со стороны местных парламентов, и фактически принудительно проводившиеся в жизнь в период с 1749 по 1808 гг., запрещали любое сокращение размера земельного участка, который держал крестьянин. В них не говорилось ничего о законных правах, которыми могли быть наделены крестьяне, в силу очевидной причины: самое большее, чем обладало большинство из них, — лишь право на жизнь. До тех пор пока правительство занималось этим, лорд мог назначать того, кто был ему угоден в качестве арендатора, но не должен был включать крестьянский надел в свое владение. Политика, которая была, несомненно, успешна в достижении своей цели, руководствовалась гуманитарными соображениями, но в соответствии с принципами государства: снижение числа или размера крестьянских наделов воспринималось как неблагоприятный для государственных доходов и для армии фактор. Создается любопытное ощущение, если после тщательных описаний, данных Кнаппом политике Хоэнцоллернов в XVIII в., с фиксацией внимания исключительно на Пруссии, обратиться к аграрным беспорядкам в Англии времен Тюдоров и Стюартов. Обратимся к словам лорда Бэкона, писавшего за полтора века до правления Фридриха Великого: «Когда огораживания участились, в силу чего ... арендованные на несколько лет, на пожизненный срок или бессрочно участки, на которых проживало множество йоменов, были преобразованы в поместья ... король

(Генрих VII) знал, ... что это явилось причиной упадка и сокращения субсидий и налогов; поскольку чем больше в стране джентльменов, тем меньше субсидий». Более того, продолжает Бэкон, «вся сила армии – в пехоте»; и «если государство больше заботится о знати и джентльменах, а землепашцы и хлеборобы рассматриваются только лишь как призванные их обслуживать труженики ... можно иметь хорошую кавалерию, но так и не получить постоянные крепкие пешие отряды». Законы Тюдоров и Стюартов, запрещающие «уничтожение сельскохозяйственных строений и домов», носили тот же самый характер, что и законодательство просвещенных автократов Континента полтора века спустя; подобным образом, они пренебрегали правовыми вопросами владений землепашца, и, вероятно, по той же причине: его законное право было либо слабо само по себе, либо весьма слабо защищено от социального или экономического давления. Эти законы появились раньше, чем подобные им зарубежные законы, потому что развитие шерстяной промышленности в некоторых районах Англии сформировало мощный мотив для включения крестьянских наделов в состав поместных владений, управляемых в соответствии с капиталистическими принципами задолго до того, как похожая схема появилась в Германии. Тоуни, наиболее свежий исследователь того периода, делает вывод о том, что попытки английского правительства «смягчили резкость» прежнего процесса огораживания. Я и сам склонен заключить, что разрушение прежней системы организации сельского хозяйства могло бы пойти гораздо дальше даже в период правления Тюдоров, если бы не контроль со стороны исполнительной власти. Необходимо отметить, что последняя серьезная попытка усилить этот контроль была осуществлена Советом при правлении Стюартов в тот самый период, когда, в последний раз, у правительства существовала возможность проводить в жизнь реформы без контроля со стороны парламента (1629–1640 гг.).

Это последнее соображение подводит нас к самой сути проблемы. Вся только что полученная информация, относящаяся к событиям, происходившим в Англии и в других странах, подтверждает, в совокупности с дополнительными рассуждениями, то, что говорил Тойнби еще в 1881 г.: «существующее в настоящее время распределение земельной собственности в Англии главным образом является результатом системы политического управления, сделавшей нас свободными людьми»; иными словами, установлению в XVII в. парламентского правления. Парламентская форма правления, в условиях того времени, могла означать только правление джентри, поместного дворянства; а представители этого сословия, руководимые сильнейшими мотивами, сочетающими политическое рвение и личный интерес, стремились к расширению и укреплению своей власти на земле. Местная власть сквайров в качестве мировых судей, которую Гнейст довольно неожиданно окрестил «самоуправлением» для того, чтобы противопоставить ее бюрократии, была лишь оборотной стороной медали, лицевой стороной которой являлось парламентское самоуправление. Тех, кто считает, что в Англии одно могло бы существовать без другого, можно отослать к страницам беспристрастного французского публициста Бутти.

Расширение торговых и денежных интересов послужило дополнительным импульсом к преобразованию сельского образа жизни в результате чрезвычайного роста богатства — доступного как непосредственно, так и косвенно, — получаемого в результате расширения загородных имений после заключения брака. Во Франции также имелись состоятельные горожане, но движение капитала в деревню было менее интенсивным, чем в Англии, потому что стимулов к этому было меньше. Лишение мелкопоместного дворянства во Франции всех полномочий местной администрации сопровождалось *pari passu* утратой их влияния на центральную власть: двоякая потеря делала положение сельского джентльмена менее привлекательным. И та самая особенность нашей социальной системы, которой мы гордились больше всего, — тот факт, что в Англии отсутствовал ограниченный привилегированный класс *знати*, — способствовала на практике укреплению лендлордства, как в части коммерциализации его духа, так и в результате роста финансовых ресурсов.

Триумф принципов вигов в 1689 г., в результате передачи законодательной и исполнительной власти сквайрам, положил конец политике «Защиты крестьянства» в Англии. Необходимо отметить, также, что парламентская форма правления ассоциировалась с реальным расширением географического ареала территорий, на которые могла распространяться власть лендлорда. Читая работы Кнаппа и его исследование, посвященное освобождению крестьян в нескольких штатах Германии, мы постоянно возвращаемся к мысли о значимости собственного домена суверена. Ситуация была такова, что великодушные принцы-автократы XVIII в. могли очень легко преобразовать, если они оказывались перед таким выбором, — а они часто перед ним оказывались, — какое-то количество крестьян-арендаторов в крестьян-собственников. Так, вскоре после 1776 г. Мария Терезия не только освободила крепостных на королевских манорах в Богемии и Моравии, но и фактически разделила крупные вотчинные хозяйства, находившиеся в каждом маноре, на небольшие наследуемые участки с умеренной отступной рентой. Фридрих-Вильгельм III, бывший королем Пруссии в 1799–1805 гг., не зашел настолько далеко, но он, во всяком случае, переводил крестьян-арендаторов в статус собственников. Еще более значимым является, возможно, положение Мекленбурга. Эта провинция четко поделена сегодня между, с одной стороны,

землями дворянских поместий с их поденщиками, и, с другой стороны, доменом, усеянным крестьянскими фермерскими хозяйствами всех уровней, от коттеджей с прикрепленными к ним небольшими передаваемыми по наследству наделами, до маленьких и больших крестьянских владений. Правительство смогло приступить к установлению такого порядка лишь в 1846 г., просто потому, что оно продолжало сохранять свое влияние на Землях короны. Но в Англии Земли короны, которые в 1660 г. все еще приносили дохода больше четверти миллиона фунтов, в период правления Анны уже не давали и шестой части этой суммы. Через сорок лет почти все они были розданы. Точно установить, какой размах это приобрело при последних двух Стюартах, и какой — при Вильгельме III, непросто. По этому поводу велась ожесточенная борьба между вигами и тори в годы правления Вильгельма Оранского. Однако известно, что окончательное уничтожение королевского домена произошло при первом монархе, власть которого ограничивалась парламентом; также известно и то, что доктрина вигов о власти денег в парламенте с неизбежностью привела к исчезновению домена как основного источника королевских доходов.

У меня в запасе остался еще один пример иностранного опыта, но он — наиболее значимый. Брентано написал эссе, освещающее вопрос: «Какова причина преобладания в Баварии крестьянской собственности?» Его ответ, вкратце, таков: немногим больше половины земель герцогства принадлежало в XVII–XVIII вв. церкви, т. е. различным церковным обществам. Управление этими поместьями и крестьянскими наделами, из которых они и состояли, по большей части, отмечает Брентано, как и управление церковной собственностью в Европе вообще, — было продуманным, но консервативным: не проводилось никаких крупных реформ, способных изменить привычный ход событий; даже крепостное право (*Leibeigenschaft*) сохранялось на словах тут и там, хотя и стало со временем чисто символическим. Фактически, крестьяне оставались на земле вплоть до того времени, когда церковные земли (в 1803 г.) были наконец секуляризованы и переданы в распоряжение государства. Однако меньшее значение имели политические результаты удержания церковью своей земельной собственности. И по причинам личной заинтересованности, и из благодарности по отношению к принцам, оказывавшим поддержку католицизму, церковь была готова преподнести правителю крупные дары; а земельные богатства предоставляли такую возможность. Такие подарки позволяли принцам Баварским, независимо от степени их величия, обходиться без парламента (ландтага). В период с 1612 по 1669 гг. не существовало местного парламента, а начиная с этой даты до конца XVIII в. никакого парламента не было вообще. Представители джентри наверняка хотели иметь возможность переложить тяжелую работу на арендаторов своих земель или принудительно применять преимущественное требование на труд их младших сыновей, но принц был волен игнорировать их просьбы. А поскольку светские лорды уже не могли присоединить крестьянские наделы к своим вотчинам, у них не оставалось альтернативы, кроме как оставить их в покое. Таким образом, Бавария в XIX в. оставалась страной крестьян, находившихся как на церковных землях, так и на землях знати. Когда наконец в 1848 г. правительство взяло дело в свои руки, дав свободу крестьянам и приняв меры по закреплению за ними статуса собственников, лендлорды не проявляли стремления, как это имело место в Пруссии, настаивать на отчуждении в их пользу большей части крестьянского надела в качестве компенсации за упразднение сеньориальных прав, — так что освобождение крестьян протекало на чрезвычайно выгодных условиях.

Таким образом, вряд ли возможно изучить причины преобладания крестьянской собственности в Баварии, не сформулировав нескольких довольно очевидных выводов для Англии. Мы знаем, конечно, что конфискация монастырских владений в 1536–1539 гг. и передача в качестве дара или в результате продажи на льготных условиях этой дополнительной пятой части земель страны в руки светских лордов и джентри имела огромное значение как для создания великих домов вигов XVIII в., так и для обогащения таких зажиточных джентри, как семья Кромвеля, который придал мощи партии пуритан в предыдущем столетии. Как Галлам давным-давно говорил нам, «упрочение и вливание свежей крови в местную аристократию, которая должна была устоять перед привилегиями короны, стало сильным преимуществом для нашего гражданского устройства». Однако на другой чаше весов нужно взвесить тот факт, что результатом стало расширение площади земель, на которые распространялось влияние светских лендлордов; к тому же, содействие возникновению зависимости короля от парламента, состоящего из поместного дворянства, привело к тому, что защита крестьянства оказалась вне его власти, в противоположность его германским современникам.

А теперь мы, возможно, сможем ответить на вопрос, почему же система землевладения Англии отличается от систем землевладения Франции или Германии. Англия обязана существующей земельной системе, со всеми ее преимуществами и недостатками, влиянию на представителей высших классов общества обычного мотива личной заинтересованности. Эти классы получили поддержку, расширились и укрепились в результате развития торговли; и они были свободны осуществлять свою волю — именно это, в конечном счете, было важнее всего, — в результате торжества Реформации и победы парламента.